



ОЛЬГА ПОСТНИКОВА

Роман на два голоса

Рассказы

Ольга Постникова

Роман на два голоса. Рассказы

«Издательские решения»

Постникова О.

Роман на два голоса. Рассказы / О. Постникова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-935705-2

Книга О. Постниковой отражает нашу жизнь последних десятилетий. Быт и бытие героев, истории их любви описаны в духе «традиционной» русской прозы. Настоящее подсвечивается историческим фоном, опирается на мировую культуру. Порою тексты обретают черты «магического реализма», повествуя о сверхъестественном как о повседневном. Автор раскрывает читателю опыт современного человека, стремящегося победить агрессию зла погружением в искусство, любимое ремесло, подлинные чувства.

ISBN 978-5-44-935705-2

© Постникова О.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Роман на два голоса	9
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Роман на два голоса Рассказы

Ольга Постникова

© Ольга Постникова, 2018

ISBN 978-5-4493-5705-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Уже в самом названии повести «Роман на два голоса» обозначены два мировосприятия, два мироощущения. Два голоса ведут одну партию в дуэте. Контральто и баритон, они различны и согласны в заданных вариациях. И сливаются в унисон в чистейшей, возвышенной ноте. А иногда угасают и не слышат друг друга.

Но живут эти голоса не на оперной сцене, а в московской трущобе.

70-годы минувшего столетия, полуразрушенный дом на Арбате, клетуха с прогибающимися полами, уже давно не пригодная для жилья. Они, влюблённые, молодые, талантливы. Но им – некуда деваться. Она сопротивляется берложьему быту, а он, инженер, подчинён ненавистой работе в секретном «ящике». Участвует в проекте создания смертоносного оружия. Отсюда неуважение к себе. Он мучается, понимая, что эта «страна обречена. Когда все работают на войну и основная цель труда – убивать людей, человек не может нормально жить». Подневольное положение сказывается на психике, любовь в тисках ненавистных обстоятельств расшатывается, слабеет. Но его возлюбленная эти обстоятельства воспринимает по-другому. Она из тех, кто их по-своему преображает. «Он терпел жизнь, она жизнью наслаждалась – даже бытом, даже стиркой». И потому, наверное, любовь всё-таки не гибнет, хотя будущее их неизвестно и, скорее всего, бесперспективно. Тем не менее, надежда на будущее мерцает в последних строках «Романа...», точно свет в крайнем окошке хибары, когда героиня возвращается «домой», встревоженная внезапным исчезновением мужа и изнурённая его поисками.

Два голоса звучат во всей книге. Роман продолжается и за пределами повести, в пространстве других сюжетов и жизненных коллизий. В рассказах такой дуэт не менее драматичен, порой безысходен. Герои этой книги как будто постоянно задают себе вопрос: как здесь выжить незащищённому человеку?

Одинокая, уже не молодая женщина-инженер, двадцать лет оттрубившая на предприятии, не имеет иллюзий относительно тех лет, которые ей осталось доживать (рассказ «В концерте»). Но понимает, что когда трезво оцениваешь себя, можно со многим смириться. Спасаясь от одиночества, она ходит на концерты. Музыка восполняет гармонию, которая, как кажется героине, потеряна в человеческих отношениях. Она ищет откровения в искусстве, самозабвенно отдаваясь ему, порой до галлюцинаций. Но оказывается, искусство тоже может быть не менее жестоко, чем обыденная реальность. Вот героиня в партере, на концерте знаменитого певца. «Вдруг ее облекла баритональная трагическая теплота. „О, если б навеки так было“, – взывал к кому-то Твороговский, глядя прямо на нее голубыми прозрачными глазами. И на эти его слова, зная, что он обязательно их снова пропоет, повторит, она внезапно, всей душой, всем затаенным внутренним чувством отзываясь на его голос, вступила: „Если б навеки так было...“ – бархатным глубоким контральто в экстазе любви и творческого единения с дорогим существом». То была вырвавшаяся громкая тоска по близкому человеку, которого она вспомнила или вообразила. И её, на мгновение выпавшую из реальности, как больную, вывели из зала. Со стороны этот эпизод может показаться трагикомическим, а для неё был чуть ли не смертельным.

Творчество – врождённый дар. К сожалению, не каждый человек его в себе обнаруживает и не каждому человеку его удаётся развить. Сколько вокруг зарытых талантов, исковерканных судеб! Когда-то русские меценаты выуживали «со дна» России Щепкиных и Аргуновых. С тех пор «дно» России неизмеримо расширилось. Нынешние олигархи не ровня Шереметевым и Репниным. Да и само русское общество за минувшие века крайне ужесточилось.

По призванию Роза Левитина была артистка с мощным красивым голосом (рассказ «Призвание»). Но никому, ни друзьям, ни мужу талант её не был интересен. В церковном хоре, где, прошедшая катехизацию и воцерковлённая, Роза надеялась найти понимание и защиту, она всё

равно остается белой вороной. Дарование её оказалось востребованным лишь в конце жизни, когда она обнищала и потеряла зрение. И стала петь в переходе метро, почувствовав, что именно здесь, где ей подадут милостыню, и есть её место. «И тут впервые публично, на исходе судьбы, в полный голос благословляя равнодушный к ней мир, Роза ощутила наконец то творческое счастье, которому была предназначена и к которому таки привел ее Господь Бог, для чего понадобилось ослепнуть и отчаяться».

Отчаянием живут и герои рассказа «Раковинка». Иван вдруг впал в необъяснимую депрессию, как будто душевно одеревенел. Не понимая его состояния, жена так страдает от беспричинного отчуждения мужа, что готова покончить с собой. Бежит топиться, отдаётся первому попавшемуся «спасателю». А потом надрывно и глубоко раскаивается. Но, вроде бы, обратившийся к вере Иван, общаясь с духовником, работая в монастыре, должен измениться, а он по-прежнему замкнут и глух.

Что же может спасти, запутавшихся в личной жизни людей? Крещение? Намоленные стены обители? Участие в церковном хоре? Но это внешние аксессуары в каждом из перечисленных случаев, к подлинной вере и катарсису они не приводят. Где же выход? Он же есть, наверное, если Тот, Кого ищут потерянные в мире голоса, сказал: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь. Я победил мир» (Ин.16:33). Но ищут ли Его персонажи этих жизненных историй? Хотят ли с Его помощью одолеть свое мирское неустройство? Ольга Постникова в этом не уверена и прямого ответа не даёт. Она честна перед собой, не впадая в морализаторство и ходульное благочестие.

Но любовь не умирает. Любовь в прозе Постниковой – всегда фокус драматического повествования. Она вдруг открывается герою рассказа «Тристан и Изольда», гуляке-парню, который, пытаясь эпикурейски использовать современный мир с его пошлыми радостями жизни, совершенно игнорирует и нормы морали, и жертвенную привязанность к нему молодой жены. И лишь ее внезапная и страшная болезнь раскрывает ему сложную глубинную сущность и ценность душевного родства с другим человеком. «До меня дошло, что фраза, которая застряла в моей башке еще с тех пор, когда я читал книги: „Мы не столько любим людей за то, что они для нас делают, сколько за то, что мы для них делаем“, — есть великая истина, и чем больше я делал для Елены – просто обслуживал лежащую больную, – тем больше я любил ее». Именно с этим героем совершается преображение безответственного, ничего не принимающего всерьез эгоиста в полноценного человека. И в момент крайнего отчаяния он переживает вдруг восторг искреннего обращения к Богу.

Странным цветением любовь возникает в последнем рассказе книги «Тайна рождения». Ребёнок, родившийся от законной жены, сохраняет черты той женщины, в которую герой был когда-то влюблён... Любовь сверхприродна: пребывает сверх времени, вне времени.

Голоса книги, собранной из произведений, написанных в разные годы, многие из которых в свое время были опубликованы в отечественных и зарубежных изданиях, имеют общее смысловое звучание: они призывают к состраданию и соучастию. К деятельному чувству, сегодня почти забытому, в котором нуждаются многие наши соотечественники.

Ольга Постникова – поэт. Иногда на выступлениях она поёт свои стихотворения. Это – обнажённая, омытая сердечной глубиной лирика. Ею озвучена и проза этого автора.

Если же учесть признания самой Постниковой относительно ее творчества, то выявляются и другие мотивы обращения поэта к жанру повествования.

«Роман» – самая первая моя большая вещь, и кажется, что там сплошной негатив и безнадега, – пишет она в письме, посылая мне рукопись книги, – но проза не может держать большого накала чувств во всем объеме текста. А главное, у меня была сверхзадача: доказать, что и в таких условиях – без жилья, в нищете – наши люди, даже весьма чувствительные, оказывается, живучи, непотопляемы, не только выживают, но и сознательно плодятся, и высокие материи присутствуют в их мыслях на фоне живописных свалок».

По видимости Постникова работает в рамках отечественного реализма. Сама она утверждает, что ее проза «набита» положительными героями. Однако, по словам автора, создавая свои повествования, она ставит себе и ряд собственно литературных задач. Представляя в книге жизненные истории советских людей последней трети XX века и перестроечных лет, в том числе, навсегда уходящие реалии действительности (например, в рассказе «Сто лет Ильичу»), писательница в современном духе рисует своих персонажей с определенной долей иронии. Однако после авторских насмешек над идеализмом героев, их неприспособленностью к жизни или попытками найти свободу в божьем круговороте, расслабившийся читатель вдруг получает по тексту ощутимый эмоциональный удар. Этот прием действует отрезвляюще, заставляя понять всю серьезность затронутых тем и делая сюжет запоминающимся.

Нередко на фоне подробно описанной реальности действующими лицами рассказов являются люди со странностями («Диссертация», «Малышка», «Призвание»), в том числе, как говорится, субъекты «с безуминкой». Им приданы, например, такие особенности, как психопатия ревности или явная неадекватность, когда в сознании до такой степени перепутаны явь и придуманное, что одно от другого делается неотличимо, или забавная в деталях, раздражающая окружающих недотепистая доброта.

Кроме того, в жизни героев возникают элементы чудесного, при том, что невзаправдошное подается автором как обычное, а герои – не всегда люди в нынешнем понимании. Иногда здесь действуют еще и существа, имеющие особую природу. Некоторые рассказы содержат невероятные события, подаваемые автором как реальные и даже повседневные (видения героини в «Романе...», «Малышка»). «Гость провинциалки» развертывает мистическую картину любви современной девушки, снявшей комнату в старом доме, и юноши-привидения, который приходит из прошлого, чтобы вместе с ней читать Хемингуэя.

Это – дань вполне определенному современному течению в прозе, отечественный вариант «магического (или метафизического) реализма», который в свое время вызывал немалый интерес публики, явленный в практике целого ряда писателей. Фантастические персонажи Постниковой не обладают устрашающими чертами и не творят злодейств, а предстают в неярком обывательном виде, придавая жизни некоторую загадочность и обостряя эмоции в сером существовании героев. Это соответствует нашей традиционной вере в житейские чудеса, являющейся, по сути, бессознательным ожиданием чего-то спасительно трансцендентного. Не случайно в поле авторского повествования порой возникает атмосфера сакральности, хотя признаки религиозного бытия героев в рассказах практически не обозначены.

Надо заметить, что подобные истории, в большой степени отвечающие нашей ментальности, отчасти близки так называемым быличкам, характерным для русского фольклора устным нарративным формам. У Постниковой они усложнены, свободны от сказового стиля речи и строятся целиком на городском материале с отказом от таких типичных вымышленных персонажей, как упыри, домовые или черти-неудачники.

Герои этой книги, в том числе, лица с духовной инвалидностью, показанные автором в реальной среде, хотят не только сохранить достоинство и «оставаться людьми», но и по-своему, – причем не всегда примитивно, а нередко и уповая на Господа Бога, – преодолеть безнадежность и нечистоту жизни («Роман...», «Казино», «Сафо, Сафо...»). Находя нравственную опору в культуре, они пытаются защитить право на свое мировоззрение и собственное творчество, несмотря на невостребованность их талантов.

Внутренне, ненасильственно противостоящие силам тотального зла и системе подавления личности, эти люди в полной мере заслуживают внимания художника.

Александр Зорин

Роман на два голоса

1

Была предосенняя свежая ночь, и, когда он вошел во двор, держа легкий топорик в твердой ладони, ни одного звука не было слышно в темноте, ни одно окно не светилось.

Он взошел на гнилое крылечко старого двухэтажного дома и, почти не боясь шуметь, выломал доски, которыми заколочен был с улицы вход. По темной и крутой лестнице поднялся наверх, остановился, на ощупь отыскав обитую мешковиной дверь, и открыл ее, просто отогнув здоровенные гвозди. Он оказался в квартирке с очень низкими потолками, едва освещенной зеленоватым светом уличных ламп.

Он постоял, переводя дыхание, потому что пыль, взметенная его решительными движениями, забивала нос, и было слишком сухо в груди, даже горько, запах пересохшего старья, вещевого праха не давал дышать. Распахнул окно, в подгнивших рамах стекла держались плохо и звякнули тихонько. Когда глаза его привыкли к скудному свету, он увидел развороченный гардероб, груды хлама на полу, большой раскрытый чемодан, содержимое которого не мог разглядеть.

Он пробыл в заброшенном доме всего минут двадцать, пройдя ряд комнатушек взад-вперед несколько раз. Со сдерживаемым ликованием затворил окошко, вышел, закрыл дверь, обухом топора пригнетая кривые гвозди, и бодро спустился на улицу.

Ощущение сонливости и умиротворения, какое наступает в улицах старой Москвы после одиннадцати часов, захватило его. Кривой переулок спускался с горы к бульвару. Купы лип были подсвечены редкими фонарями, поражая сочетанием зеленых до прозрачности ветвей и черных неосвещенных листовых масс. Мертвенный свет ламп ртутного давления выделял серые плоскости тротуаров по контрасту с темными гранитными их краями.

Кое-где вековые деревья смыкали кроны над мостовой, мощные корни выпирали, разрушив асфальт и невольно притягивая взгляд к сети жестких побегов, от упрямства которых обнажилась земля, покрытая мелкими, но видимыми в ночном свете камешками и серебристым песком с разводами прошлых дождей. Каменные заборы на крепких фундаментах ограждали здания, и те казались таинственно защищенными.

Распугивая компании кошек и никого не встретив по дороге, он дошел до метро, любясь двухэтажными особнячками под высокими тополями во дворах.

2

В центре города, где всегда жили тесно, в сырых комнатухах, по сто лет без ремонта, любая каморка тотчас же после выезда прежних обитателей бывала захвачена плодящейся молодежью, отделяющейся от родителей, прибиралась к рукам ушлыми старушками, которые вызывали родню из деревни на освободившуюся площадь. Но этот дом уже полгода стоял без жильцов. Первый этаж заняло под бытовку строительно-монтажное управление, днем там передевались и обедали рабочие. А квартиру во втором этаже не заселил никто, слишком свежа была в памяти история ее жильца, худого непьющего Леши, монтера по лифтам. Он подолгу пропадал на работе, слыл человеком денежным и, когда в запертую изнутри квартиру долго не могли достучаться, то, высадив дверь, нашли его скрючившееся и уже начавшее разлагаться тело в сидячей позе с жесткой проволоочной петлей на шее, которая почти отрезала ему голову. Потолки в комнате были так низки, что даже при своем малом росте он не мог

повеситься по-человечески. Конец проволоки был прикреплен к толстому, вбитому в деревянную подпорку штырю. Монтер влез в петлю и присел на корточки.

На столе стояла недопитая бутылка водки, пара стаканов. Окаменевшая селедочная голова лежала на клочке бумаги. Денег в доме не нашли, и почти ничего из вещей не было ценного, кроме монтерского инструмента. Парень жил в грязи, как свинья. Для порядка отодрали обои, но и за ними ничего не оказалось, кроме сухих, еле движущихся клопов.

Но герой моего повествования, возможно, не знал этой истории. Острое чувство необходимости привело его в район города, где он когда-то родился, в это оставленное строение, в котором в течение нескольких месяцев никто не зажигал огня по вечерам.

3

Он твердо решил, что в армию не пойдет. Несмотря на худобу и плоскостопие, герой мой был довольно вынослив. Но после Бауманского училища с крепкой военной кафедрой ему хватило двух месяцев лагерей, чтобы понять, что, попадись ему армейский командир такой, какой был в соседней части, он просто его убьет, не станет терпеть хамства и пойдет под трибунал.

4

Она числилась студенткой химико-технологического института, но училась плохо, так что дважды уже побывала в академическом отпуске из-за хандры, которую в медицинской справке научно поименовали астеническим синдромом. В свое время хотела она поступить в МГУ на историю искусств, но отец сказал грубо: «Не время эстетствовать!», и был прав, потому что старшие учительствовавшие родственники уже отсидели свое, и только сестра отца, окончившая Высшие женские курсы, благоденствовала, работая начальником цеха на мыловаренном заводе. И моя героиня как послушная дочь отправилась сдавать экзамены на факультет технология резины. И поступила. Ходила туда редко, прогуливая лекции, но, тем не менее, как-то, по чужим конспектам сдавая зачеты.

5

В воскресенье они встретились рано-рано, пришли в Гагаринский, поднялись по деревянным высоким ступенькам и попали в кухню, которая начиналась прямо на лестнице и с тяжелой газовой плитой, балками и воробьиными гнездами прилепилась сбоку дома, держась на одном высохшем добела, расщепившемся сосновом столбе.

Отворив старую дверь в лохмотьях кожи, встали на пороге, оглядываясь. Из крохотной передней, которую он даже не заметил в свой ночной приход, открытые двери вели в низкие комнатки. Вошли в боковую, чистенькую, с оранжевыми простыми обоями. Потолок тоже был заклеен бумагой, по углам сероватой от прошлой сырости. Квадраты дубового паркета, набранного широкими плахами, были покрашены красно-коричневой масляной краской.

Печь занимала целый угол и была тщательно выбелена, а кирпичные горизонтальные выступы зачернены пылью, так что особенно видна была стройность печи, выложенной строго по отвесу, с зеленоватыми медными вьюшками.

Окошки выходили во двор, на соседние крыши. Голубая стена ближнего дома как будто синила воздух в комнате. В передней стояла старомодная эмалированная раковина на ножках. Он открыл кран, и вода полилась, похрипев, – сначала ржавая, а потом – серебристая толстая струя. И они напились из-под крана, и вода была холодная, по-родному вкусная, пройдя через допотопные фильтры с гравием, с песочком, добросовестно сработанные умершими уже мастерами чуть ли не в тринадцатом году.

Она знала вкус этой воды, знала с рождения. Это потом родители перевезли ее в Измайлово, в новый дом-хрущёвку, где скользкая на ощупь водопроводная влага не оставляла накипи в чайнике. Как птица, почти инстинктивно, она стремилась в то место на земле, где родилась.

Он подобрал ведро, целое, но почему-то никем не унесенное. Она начала мыть окна, растирая стекла газетой и радуясь бронзовым шпингалетам на рамах.

Вторая комната была по-особенному мрачна и грязна, и он стал убирать мусор, и как-то все, что нужно, подвертывалось под руку: истертый веник, и совок, и мешок с черными клеймами. Всю рухлядь, что могла гореть, он сложил в печь, выдвинул заслонку и подпалил. Немного дыма попало в комнату, но потом печка разгорелась, и вдохновенно загудела. Он отсек кусачками безобразную проволоку, спускавшуюся сверху, исправил перерезанную проводку и ввинтил лампочки в патроны.

Она мыла пол и вдруг нашла обрывок серебряной цепочки, и умилилась находке, но, пока возилась с уборкой, снова потеряла и жалела, как о своей вещи. Из пяти метров купленной бязи она сделала занавески и, продернув шпатель, отгородилась от города жестко накрахмаленной клетчатой хлопчаткой.

Управившись, они умылись (от холодной воды, почти не смачивавшей лицо, стянуло кожу) и ушли из квартиры, навесив замок, смешной своей малостью, едва видный меж мощных скоб (парень сказал, повторяя дедовскую фразу «Замок – от честных людей»), и с радостью унесли крошечный жалкий ключ от своего будущего.

Шагая по переулку об руку со своей девчонкой – мимо банного павильона и деревянного стилизованного под избу дома с резными наличниками – он вдруг вспомнил свою маму, какая она была, когда отца арестовали. С тех пор у него так и запечатлелся этот ее взгляд с выражением скорби, которое он невольно перенял навсегда, и невинный сдержанный рот, какой сын увидел много лет спустя в картине «Спящая Венера», слишком поздно разгадав свою мать. В пятидесятом собирались сделать в их доме паровое отопление, да не успели к зиме, а дрова не были запасены. Так что мать после работы ходила с ведром и собирала щепки по окрестным помойкам. Помнил еще, что когда включали радиоприемник, загорался зеленый зрачок и в комнате как будто становилось теплее.

Они хотели есть. Было утро, и в шашлычной на Арбате никого. Официантки сидели группкой у окна и косились на них. Можно было заказать только баранину на ребрышках, и им принесли большую красивую тарелку, а на ней длинненькую металлическую сковородочку с мясом, украшенным кружком красного перца. Он не ел мяса, а снова пил воду и, так как она мялась, стесняясь есть одна, стал брать по кусочку за косточку и кормить ее из рук, а когда она ела лук, постепенно забирая в рот зеленые стебельки, смеялся и говорил: «Как козочка».

И когда сентиментальной парочкой они медленно вышли на улицу, официантки почти с сожалением провожали их глазами, лишившись развлечения.

6

Дом качался от старости, и если по мостовой ехал грузовик, со стола падали яблоки. Из окон не видно было ни одного нового дома и даже ни одного дома начала века – только вершины тополей да низенькие особнячки, с крыш которых снег не убирали.

Оставшийся от прежних хозяев маленький шелковый абажур на веревочных блоках можно было поднимать на разную высоту и опускать почти до полу. Предметы намекали на тайны иной жизни, открывался целый мир утраченных ныне движений.

Квартира долго была необитаема, мыши и насекомые покинули ее, не находя пищи. Но потом к ним в жилище стала переселяться живность с первого этажа, из бытовок рабочих. Их развлекала суeta малых тварей, лазавших за отставшими обоями, хруст краденных мышами корок. Здесь впервые в жизни она увидела больших черных тараканов, мистические существа

со множеством мелких роговых члеников и объемным брюшком, которые поначалу казались очень страшными.

Иногда, проснувшись на рассвете, он видел мышку, балансирующую на ребрах холодной батареи. Чувствуя его взгляд, та стремительно падала на пол и убегала в угловую дыру. Но молодое поколение мышей не было таким пугливым. И однажды за ужином они услышали беззастенчивое шуршание пергаментной бумаги, а когда взялись узнать, отчего это, из свертка с маслом вышел сытый мышонок, чистенький, большеголовый, с нежными розовыми ушами, на которых был виден каждый микроскопический белый волосок. Он нескоро соскочил со стола и стоял в световом пятне, не убегая. Казалось, его можно схватить рукой, и они с азартом пытались поймать это малое, безбоязливое существо, но зверенок был увертлив. Тогда положили посреди комнаты варежку, захлопали разом в ладоши, и мышонок юркнул в шерстяную норку, откуда был извлечен и посажен в трехлитровую банку. Ему положили сыру, но он не ел, пытаясь карабкаться вверх по гладкому стеклу.

Мышонок был до странности искусно сделан, можно было легко разглядеть фаланги пальцев, прозрачные коготки, живот с тончайшим пухом. Детеныш был созданием таким же красивым, как нэцкэ в Музее восточных культур. Там в витрине помещался человек из слоновой кости, который тащил огромный заплатанный мешок, а сверху, не видимые ему, согнувшись с удовольствием от хлебного веса, сидели мыши, уцепившись за мешковину, другие выглядывали из дыр и, верно, весь мешок был полон ими. И их зверек выражением беззлобности и тонкостью изготовления был сродни той столетней штучке.

7

Утром множество людей, как муравьи, спешили от метро в учреждения. Здесь, в центре, находилось несколько десятков исследовательских и проектных институтов со строгими черными с золотом вывесками на фасадах. Но везде были проходные с вертушкой, непреодолимые заборы и вооруженная охрана. Каждый институт работал на оборону и числился в министерских списках как «почтовый ящик» номер такой-то, собирая под крыши свои до тысячи человек. Все они, прежде чем быть принятыми на работу, заполняли анкету с графами, которые моему герою казались дурацкими: «Имеете ли родственников за границей? Были ли вы или члены вашей семьи на временно оккупированной территории?» и т. п. Потом, после беседы в первом отделе, нужно было дать подписку-обязательство о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Когда бабушка нашего новоиспеченного инженера, благодаря которой они с матерью вернулись после высылки в Москву (она сохранила комнату), узнала, что внук ее на секретной работе, она очень возгордилась. Ее предупредили, что болтать об этом нельзя и что сам он не имеет права рассказывать о своей службе. Она же безапелляционно заявила: «Но маме-то можно!», демонстрируя, какой разлад существует между представлениями разных поколений. Мать же молодого специалиста, за несколько лет до того невероятными хлопотами добившаяся посмертной реабилитации мужа, так и не вернувшегося из заключения, умоляла ее: «Молчи!»

На работе одних интересовали только чисто научные проблемы, им было все равно, как используются впоследствии плоды их трудов. Другие ничего не делали, отбывая в присутственном месте свои восемь часов двенадцать минут ежедневно.

Были и такие работники, что во весь срок своего сиденья в конструкторском отделе не сдали практически ни одного чертежа и разучились извлекать корни второй степени на логарифмической линейке. Попав при распределении после института в престижный «ящик», мой герой понял скоро, что если война все-таки грянет, вряд ли такие кадры будут на что-то годны после многих лет безделья и питья казенного этанола...

Накануне ноябрьских и первомайских праздников, когда по закону рабочий день кончался на два часа раньше, нарядные и суетливые сотрудники запирались в отделах и устраивали застолье, разливая спиртное из бутылок, которые никогда не ставили на стол. Осенью выезжали на уборку картошки, и уж тут спирт брали с собой канистрами.

Объясняя наивной подружке сущность своей трудовой деятельности, он рассказал ей старый анекдот о человеке, который работал на заводе, производящем швейные машины. «Ты принеси домой детали и собери себе машинку», – советовали трудяге. «Пробовал, – отвечал тот, – но каждый раз, как соберу, получается пулемет».

«У нас скрытая безработица, – говорил он своей дурочке, – людей собирают в конторы, чтоб они были под присмотром, а работы нет».

8

Он ходил на службу пешком, чтобы не ехать в метро, где ему было тошно от тесноты, от периодически появляющегося напряженного недовольства в лицах пассажиров, когда люди протискивались к дверям перед остановкой.

Он шел по утренней серенькой Москве, по снегу, который еще не успели разгрести и затоптать, к набережной, где ехали нескончаемой вереницей порожние грузовики. Взбирался на Большой Каменный мост и, с усилием раздвигая густой воздух, несясь вдоль чугунных перил, в этом движении остро ощущая жизнь своего тела. Иногда ветер был так плотен, что застревал в глотке, не идя в легкие. Так бывает, когда откусываешь большой кусок антоновки, и пропадает дыхание. Старое пальто болталось вокруг худых телес, полы высоко взметались, и холод костянил спину, но щеки его были горячи, а льдистый ветер раздирал их, как наждак. Он шел, неглубоко и часто дыша, крепко прижав к туловищу руки, засунутые в карманы.

Она знала, что он мерзнет, и из старого слежавшегося ватина сделала ему подкладку на спину, вычистила и отгладила старое пальто из сукна, набранного разноцветными ворсинками, такими тонкими, что оно казалось серо-фиолетовым.

И теперь, когда встречный ветер был особенно сильный, он поворачивался к нему спиной и несколько шагов мужественно пятился, потому что никто не ходил по мосту в это время и не видел его. А машины, мчащиеся мимо, были такие темные и металлические, забывалось, что в них сидят люди.

9

Он ненавидел свою службу так, что в понедельник утром подруга пугалась его мрачности. Ненавидел бравое мужское приветствие «Как стоит?», обращенное к нему вместо «Здравствуй», и брутальное бахвальство сослуживца: «Пять палок!».

От восьмичасового безделья в комнате, набитой людьми, которые играли в морской бой и решали кроссворды, он выматывался до бледности и, когда в отделе бросали клич убирать снег во дворе или ехать рыть траншею в подшефный совхоз, с радостью заменял физическим трудом свое бессмысленное отсиживание под охраной.

Он мучился от вечных сплетен, от блеска полированных столов, от проволочной сетки окна, за которым были только глухие стены да линии проводов, да белые фаянсовые ролики на электрических столбах. Страдал от вечного запаха борща в столовой, от вида водянистого пюре, по которому, наложив его на тарелку, подававшица проходила ложка, делая волны.

И в проходной до жути, до отвращения к самому себе, к человечеству вообще, доводили его тупые физиономии вохровцев, особенно, когда дежурила одна немолодая женщина-вахтер: стертая лицо, мелкие кудряшки, примятые форменным беретом и круглые белые клипсы. Ее ноги в модных сапожках-чулках, выглядывавшие из-под шинели, были тверды и окатисты,

как перевернутые горлышками вниз бутылки. Она, автоматически заклинив профессиональным движением никелированную вертушку, деловито обыскивала его, требуя «Откройте портфель!», и прижимала ему ногу коленкой, как будто боясь, что он проскочит через загородку. Однажды он слышал, как эта охранница говорила о нем товарке: «Падло, всегда нос воротит!»

Он был существом, как-то не подходящим для этого места. Его обтянутое бледной кожей лицо с отсутствующим взглядом, с губами, которые не умели смеяться производственным шуткам, явно выделялось среди окружающих, хоть он и стремился быть незаметным и всегда молчал, научившись не выдавать своих чувств. Но он ничего не мог поделать с этим своим лицом. И профорг отдела, плотная красивая дама, у которой от безмужней жизни кожа на лбу была в нежных буграх, говаривала: «У него такая рожа, как будто он всех нас презирает».

Естественно, его недолюбливали, правда, большинство сослуживцев да и вообще людей, с которыми сводила моего героя жизнь, не любили никого. Не любили и своей работы с обязательным авралом в конце квартала. Честно сказать, эти люди не любили и самих себя. Они соглашались ради зарплаты провести треть жизни взаперти, за железным забором и, казалось, не мечтали ни о чем, кроме двухдневной рыбалки или отдыха в пансионате по профсоюзной тридцатипроцентной путевке.

В зале с большими квадратными окнами стояли рядами кульманы с приклепанными листами ватмана. На некоторых из них было нечто вычерчено, другие месяцами оставались пустыми. Большинство сотрудников не сидели на месте, а шныряли по комнатам, курили и болтали.

Все как-то устраивалось в этой системе: женщины вязали и снимали выкройки из журналов на казенную кальку, один младший научный сотрудник разрисовывал цветными карандашами картинки в книжках для своего сына, лаборантки квасили выдаваемое за вредность молоко и делали творог. Но читать здесь художественную литературу было не принято и осуждалось не только начальством.

Паровиков, которого все называли «шеф», непосредственный начальник моего младшего инженера, можно подумать, за всю жизнь не прочел ни одной книги. Он был из тех наиболее активных институтских деятелей, кто для продвижения по службе влез в партию, преодолел ограничения, существовавшие при приеме в КПСС интеллигенции. Хотя, как видел наш разумник, никакой интеллигенции в партийных ячейках «ящика» не водилось...

Герою моего повествования удалось безгласно отвоевать себе угол и умело отгородиться чертежными досками, но от непрерывного человеческого гула с женскими взвизгиваниями он не мог изолироваться и, случалось, заклеивал уши хлебным мякишем...

Он понимал, что бессмысленное принудительное безделье, сменяющееся гонкой, вкупе с бытовыми трудностями и нехваткой самого необходимого обессиливало и растлевало людей. Его окружали среднестатистические типы, не терпящие ничего непохожего на них самих. А ему их лица склонностью к ранним морщинам и всегдашним выражением настороженности казались почти одинаковыми.

Его угнетала бесцветная, полная газетных оборотов речь сослуживцев, этот жаргон посредственности. Метафора или преувеличение тут были невозможны, иностранные слова характерно перевирались, точно язык с трудом ворочался в мясной тесноте зева. Остроты черпались из телевизионных шуток, из реплик Райкина и повторялись так часто, что вызывали у нормального человека отвращение. «Как вы себя ощущаете?» – слышалось отовсюду после того, как знаменитый актер показывался с очередным спектаклем на телеэкране. «Слушай, Люлёк», – приговаривали перед каждой фразой. «Вообще», – цитировали все к месту и не к месту. Анекдоты рассказывали либо в женском, либо в мужском кругу, часто – в уборной. Анекдоты эти были грязны и примитивны, но матерные слова произносились вполголоса. Слово «халтура» обозначало здесь не плохо выполненную работу, а незаконный («левый») приработок.

Смеху и хохоту некоторых сослуживцев присущи были звуки неживой природы: бульканье, металлический писк, треск, какой бывает при шлепках по фанере. Человек весь на виду, когда смеется. Слишком широко раскрытый рот, трубное горловое выдыхание или беззвучная тряска, когда колыхнется живот, – все раздражало моего мизантропа, но и вызывало странный болезненный интерес.

10

Он не привык, чтоб его как-то любили. Выросший в скудном месте, в нищете, без отца, с ежедневными истериками измученной матери: «На что жить?» – он и не ждал от этого мира сочувствия, да и сам не собирался жертвовать своей жизнью ради кого-то. Его порой мучила совесть, что и мать свою он не любит. С трудом скрывая раздражение, он старался промолчать и не поддерживал скандала, когда она, например, упрекала его, что вот, мол, истратил всю стипендию на пластинки, а есть нечего. Он никогда не думал о еде и не хотел есть.

Он не видел врожденного благообразия матери, воспринимая ее существование рядом с собой как неизбежную данность. Ну вот, мечется такое существо, ругается. А когда у нее однажды нарывал палец и боль была невыносима, сказал жестко: «Ты можешь не стонать?». Обреченный жить с матерью в одиннадцатиметровой комнате коммунального дома, он считал, что она не должна вмешиваться в его жизнь, и не выносил поучений.

И материнскую судьбу с клеймом дочери врага народа и жены врага народа он не хотел впускать в свою душу. Он не считал такие чувства эгоизмом, потому что к себе был еще более равнодушен, чем к остальному человечеству.

Он научился такому равнодушию давно, впервые осознав необходимость без жалоб терпеть боль еще в детстве. Он помнил, как его били малыши, чуть ли не всем детским садом, жестоко. Так, что даже повредили носовую перегородку, и, дожив до поры, когда у него стали проявляться вторичные мужские признаки, он заметил, что возле искривленной ноздри, которая после той драки почти не дышала, щетина хуже растет, чем на другой стороне лица. Две-три дружеских связи за целую жизнь держались на добровольном его подчинении тем, кого безоговорочно он признавал выше себя. Учитель в студии живописи, иногда приглашавший его к себе в холостяцкое жилье посмотреть альбомы с репродукциями, которому позднее он приносил из аптеки лекарства. Да те сверстники, которым он невысказанно завидовал (у них были отцы!), в ком угадывал умственное превосходство над остальными одноклассниками.

Вообще же он не хотел ни с кем контакта и от неинтереса к ровесникам, и от нежелания возмутить своим прикосновением чей-то мир, чужой ему не волею людей, а объективно, по некоему закону.

Он и в школе отличался замкнутостью и болезненной застенчивостью, которая стопорила его речь. В десятом классе на уроках он постоянно держал в ладони твердую пластмассовую расческу. И когда учительница математики, всегда его задиравшая и старавшаяся подчеркнуть, что он тугодум, приближалась к его парте, он сжимал кулак, перетерпывая боль вонзавшихся зубьев, и тем сдерживал желание ударить ее за оскорбление, так что у него гневно надувалась жила на виске.

Ему порой приходило в голову: что его связывает с этой девочкой, которую из боязни одиночества он увел из родительского дома? Со слабым этим созданием, которое испорчено чтением популярных брошюр о Фрейде и рассказов Хемингуэя, которого сам он не мог читать? ... Существом с птичьей повадкой, тягой к теплу, к темноте и покою? Когда она закрывалась с головой одеялом, съезжаясь в клубок, то он видел, как некрасива эта ее поза человеческого зародыша из школьного учебника биологии...

Она любила лизаться, невольно копировала фильмовые любовные сцены, говорила с придыханием, закатывая глаза, стонала и ахала, много разглагольствовала о любви, и это представ-

лялось ему литературщиной и фальшью. Она вечно подозревала его в скрытности, сама себе придумывала всевозможные фантастические унижения, якобы исходившие от него. До истерики. И не будь всего этого, он больше бы верил в ее любовь. Иногда он говорил себе, что совсем никчемна эта балаболка, но надежда вскипала вдруг: как хорошо будет, если я полюблю!

11

Из-за троек стипендию ей не давали, и родители вечно упрекали за то, что учится она плохо и сидит у них на шее. Но теперь, когда их непутевое чадо приезжало к месту прописки, в измайловскую хрущобу, то ей нагружали едой целую сумку: и варенье, и десяток микояновских котлет, и гречку, которую мать покупала в магазине по особому талону как диабетик. Вообще-то материнский диабет в определенном смысле выручал семью. Ей один раз в месяц полагался продуктовый заказ, который выкупали в районном гастрономе, и он содержал не только дефицитную крупу, но и тушёнку, и оливковое масло.

Моя героиня успокаивала родителей, мол, все хорошо, финансов хватает, а у нее самой есть небольшой заработок. На трофейной машинке «Идеал», которую перетасили в пречистенское гнездо, она довольно бегло печатала, а заказы приходили через приятельниц. Кулинарные рецепты, прописи лекарственных травяных сборов, руководства к похудению... «Знаешь две главные проблемы советской женщины: где достать поесть и как бы похудеть?» – острела ее подруга, получая в подарок описания диет (обычно, слепой шестой экземпляр).

Мать, страшная перестраховщица, беспокоилась из-за ее машинописи. Это считалось, в общем-то, незаконной деятельностью с извлечением нетрудовых доходов. Да и отец, когда однажды ей досталось перепечатывать стихи (книгу «Камень» поэта Мандельштама), всполошившись, долго ее поучал быть осторожней. Говорят, шрифты всех машинок есть в КГБ. И тот экземпляр стихов, который она радостно принесла в отчий дом, спрятал в самый низ книжного шкафа за многотомный справочник Хютте.

Она потешалась над родительской боязливостью, понимая, что замордованные души так и не отогрелись «оттепелью». А сама она, на выпускном школьном экзамене по истории отвечавшая по билету «Куль личности И. В. Сталина» и никогда не читавшая газет, принадлежала к тем непуганым идиотам, которые и через несколько лет после снятия Хрущева не догадывались, что в России по-настоящему кончилось счастливое царство Иванушки-дурака.

В институте на занятиях по научному коммунизму она, не скрываясь, потешалась над тихогласным преподавателем с фамилией Белоглазов, который на ее вопрос, как же при коммунизме будут обходиться с преступниками, искренне отвечал: «Люди не любят, когда над ними смеются. При коммунизме с человеческими пороками будут бороться юмором».

Мать же по поводу ее невожатанного языка и этих ее машинописных заказов говорила гневно: «Ума нет! Посадят – тогда поймешь».

12

Вся жизнь нашей девицы заключалась в ожидании. Она начинала ждать своего возлюбленного с той минуты, когда утром за ним захлопывалась дверь. Уже в шестом часу была взволнована до бледности, до головокружения, оглядывала комнаты и выбегала в прихожую слушать шаги, а когда петли наружной двери сварливо скрежетали, медленно проворачиваясь в ржавых гнездах, стояла в низеньком коридоре, чувствуя странную пустоту в животе и какую-то предвзлетную легкость.

Ей очень хотелось быть красивой, и перед тем, как он приходил, она надевала собственноручно сшитый и простеганный желтый атласный халат, чтоб встречать его в этом длинном

златом одеянии, украшенном роговыми пуговицами, споротыми со старорежимного, унаследованного от бабки пальто.

И случались такие дни, когда, возвращаясь с работы и еще не дойдя до поворота, откуда был виден их дом, он внезапно представлял его заранее, опережающей фотокамерой воображения – в сумерках, среди синих сугробов, в апельсиновом свечении соседних окон.

И на этом месте исчезал хмурый отшельник, не умевший улыбаться, так что когда в обед пересказывали фильм, который накануне шел по телевизору, и все ржали, замечено было, что и смеется он, силком растянув губы пальцами поставленных на локти рук. Он превращался вдруг в ласковое, наивное существо и взлетал по лестнице, сдерживая дыхание и чувствуя, как вся кровь сбегается к губам, все тепло, чтобы быть отданным в поцелуе. Странное умиление грело лицо, делая взгляд блестящим. Он стучал, и ему тут же открывали, и такая тишина была в этот момент приникания к родному телу между звуком открывающейся двери и тряпочным мягким ее захлопыванием.

13

По субботам они просыпались рано, чтобы день был длинный, и завтракали калачом и сыром, вырезая из куска кубики и ромбы. Потом читали, лежа – каждый свое. Иногда она воодушевлялась текстом и читала ему – низким голосом, чуть завывая.

Прилетали желтые синицы, усаживались на ветках под окно и пищали, и она слышала «тень-теньк», а он «иньк-инь», и они дурашливо спорили, кто прав. Синицы получали от калача, иногда им вывешивали на нитке кусочек колбасы, и тот быстро превращался в розовое решето, когда птицы выклевывали сало. Колбасы обычно было мало (покупали не каждый день), и она просила: «Мне оставь!», а он смеялся: «Ты большая, а синичка маленькая!».

В полдень они пили молоко и снова ели сыр с черным хлебом и радостно, многозначительно – яблоки, вспоминая и воспроизводя античную сцену, где женщина ловит яблоко в вырез платья на груди, и оно, еще теплое от бросавшей руки, скользит вниз и застревает, сдерживаемое поясом.

Потом они ждали темноты и дремали на раскладушке, и, казалось, та для того была так стара и продавлена, чтоб теснее лежать. И когда дыхание учащалось, делалось слышным и глубоким, было сладостно прикасаться друг к другу оттого, что одежда мешала, устраняя гладкость, и желанное тело ощущалось по-особому горячим от сопротивления ткани... От любви они ненадолго уставали и отлеживались на теплой подушке, чтобы вновь дразнить друг друга нежными укусами...

И когда потом они пробуждались, изможденные и снова алчущие единства, то в наступающих сумерках долго не могли оторваться друг от друга, мелкими поцелуями впивая родство, когда в приступе доверчивости она захватывала губами его руку, бугор в основании большого пальца, младенчески забывшись в своей брезентовой колыбели. И его обволакивало успокоение, только бы слышать этот еле угадываемый свист ее слишком узких ноздрей.

Вечером, часов в девять, он выходил и покупал в дежурном магазине на Арбате еду, приносил бутылку сока, иногда кислое вино. Они раздевались и ужинали в постели. И когда она, хохоча, отказывалась от кислятины, он поил ее вином насильно, изо рта, и она тянула теплую вяжущую влагу и острила потом, цитируя романс: «Лобзай меня! Твои лобзанья мне слаще мира и вина». И странная дословесная связь была ночью между ними, когда он внутренне задавал вопросы, а она вслух отвечала между поцелуями.

От невозможности успокоиться они уходили на улицу, где уже никого не было и тонкий слой свежего снега покрывал подоконники темных домов, тротуар и переполненные мусорные контейнеры.

Мебель их состояла из двух стульев и раскладной кровати, привезенной ею из дому. Стол, гардероб и множество самодельных полок остались в квартире от прежних хозяев. Он наташил теса и смастерил просторный топчан, такой длинный, что не хватало одеяла прикрыть концы досок, свежих, с остатками пахучей коры. Правда, спал на этом, похожем на нары, твердом ложе он всегда один и никогда не мог заманить сюда свою полуночницу, за что и звал ее принцессой на горошине.

Десятки домов дореволюционной застройки в районе между Арбатом и Кропоткинской были доведены небрежением до такого состояния, что их уже невозможно было отремонтировать. Жильцов, по большей части одиноких коренных москвичек, потерявших семью в перипетиях истории, постепенно выселяли из трущоб. Было две или три волны переселений. Сначала, как говорили в ЖЭКах, выводили людей из подвалов, потом переезды были приурочены к празднованиям пятидесятилетия революции и столетнему юбилею Ленина.

По вечерам, наш герой отправлялся обследовать дома, назначенные на слом. Приносил вещи, ненужные уже владельцам, но милые своей стариной, добротностью и необъяснимой подлинностью, непохожие на нынешние недолговечные, слишком легкие и безразличные к людям предметы. В тех был виден труд и сам человек, не штампуемая машина, не унылый придаток конвейера, повторяющий полжизни одни и те же движения, а мастер, который все умел, и умел хорошо, не жалея для другого своей силы.

Однажды он притащил кресло павловских времен, раскоряченное и тяжеловесное, с почерневшей фанеровкой красного дерева и подлокотниками, как будто с трудом гнутыми.

В большинстве домов взять было нечего, ремонтники-рабочие сами забирали хлам, оставленный жильцами, а иногда просто крушили все ради потехи. Он отвинчивал красивые оконные задвижки, снимал печные заслонки, сортируя скобяные изделия по назначению. Брал выбитые изразцы. И вечером они любовались находками. А старые двустворчатые двери своей комнаты, изуродованные многократным врезанием замков, он выкрасил белой масляной эмалью и поставил парные бронзовые ручки на место давно утраченных.

Как-то раз она умолила его взять ее с собой на эту охоту. Выбрали дом, куда было легко забраться. Двухэтажный особняк стоял в безлюдном переулке, от ветра хлопая оконными рамами. Поднялись по замусоренной лестнице и, светя фонариком, входили в незапертые квартиры, в помещения с поваленными дверями, с кучами бумажек на полу.

В узкой комнате увидели огромный дубовый стол с инкрустированной крышкой: квадраты темного и светлого дерева. Должно быть, когда-то за этим столом садилась обедать большая семья, которую потом уплотнили. Столовая и зала превратились в ряд маленьких проходных клетушек. А стол, задвинутый в угол, уже нельзя было вынести, не рубя стен. В темноте стол этот представлял основой здания, как будто весь дом держался на нем. Там же они нашли склеенную китайскую вазу с чешуйчатыми красно-синими драконами на боках, заполненную крышечками от молочных бутылок.

На подоконнике, рядом с нестандартными банками увидели алоэ в горшке. Она не любила комнатных цветов, жалких пленников, живущих фильтрованным светом, но этот согнувшийся столетник с худосочными листьями спрятала на груди, расстегнув пальто, и унесла с собой.

Обычно его походы давали мало трофеев: треснувший фаянсовый абажур с зелеными птицами, почерневшие держатели лампад, пыльная этажерка с чернильными кружками, — но милы были сами эти беззаконные прогулки, проникание в высокие комнаты с лепными потолками. Почти в каждой квартире оставался комод, и он наглядился их самых разных — светлых из ореха или отделанных красным шпоном громоздких, с пустыми ящиками, выстланными бумагой. Из старых шкафов были вынуты зеркала.

В деревянном длинном строении, где полы в помещениях были на разной высоте и коридор шел ступенями, нашел он два стула с красивой резьбой на высоких мореного дуба спинках. Обивка их была так засалена, что казалась в темноте черной кожей. Он взял стулья домой, радостно и неумело занялся реставрацией. Дерюжкой коврового рисунка обтянул сиденья, набитые конским волосом, прижав ткань мебельными гвоздями с золотистыми головками, которые удалось купить на скобяном развале у рынка.

Как правило, в брошенных домах не оставалось ни одежды, ни тряпок, порой крашенные полы были невероятно чисты, и только прямоугольники, где стояла крупная мебель, выделялись шершавостью и особым оттенком краски.

Лампочки всегда были вывинчены. В одной совершенно пустой квартире он заинтересовался медной люстрой. Потолок был высок, и чтоб снять ее, пришлось притащить туру с улицы, с ремонтного участка. На широком красной меди обруче выгибались три змеи из светлого металла с петельками вместо пастей, куда продеты были бронзовые цепочки.

Ему нравилось все старое. И он возликовал, когда нашел небольшой сундучок, окованный оловянными полосками. Пластинки разноцветной слюды на крышке с узором в ромб.

Он даже не брал всех вещей, которые находил, только рассматривал, восхищаясь их незнакомым обликом и долговечностью.

Дома были разные, но в каждом была особенность. Лестницу в парадном неряшливо оштукатуренного дореволюционного здания с переполненными мусорными ведрами возле дверей украшали дубовые панели с зеркалами в простенках, указывая, что не всегда здесь жило по пять человек в каждой комнате, были времена и получше.

Кое-где печки, уже не используемые с вводом парового отопления, были помещански заклеены обоями, но в большинстве случаев белые кафли блестели, как новые, а в кухнях самых старых домов огромные русские печи были облицованы крупными изразцами с бирюзовой обводкой по краям.

15

Их дом был деревянный, и потому в нем всегда было хорошо: зимой, когда натоплено, жарко, летом прохладно, благоуханно весной. Отопление работало, нельзя же было отключить один дом из круговой системы теплоцентрали, но где-то прикрутили вентили так, чтоб только-только не рвало от мороза батареи. Топлива, которое он набирал во время ночных прогулок: щепок, старых досок, остатков мебели, – хватало. Каждый вечер он сидел перед открытой печной дверцей на самодельной низкой скамеечке, любясь огнем и удивляясь, какая энергия заложена в дереве, как много жара дает какой-нибудь кружок старого бревна.

Он клал ковровую подушку на пол перед печью и звал свою мечтательницу. Она садилась лицом к огню, прямо между его раздвинутыми коленями, и он выдыхал тепло на узкий островок девичьей шеи между воротником и стриженными её волосами. А она вдыхала ореховый солоноватый мужской дух и эфирный аромат горячей смолы, похожий на запах ночного поцелуя, этой ротовой влаги, испаряющейся с горячей щеки, и смотрела, как кудрявится кора на поленьях в печи и зеленым пламенем вспыхивают цветные страницы старых журналов.

И потом ночью она вслушивалась в скрип половиц под чьими-то неровными шагами, но никогда не рассказывала о странных звуках, которые называла про себя ангельским говором. Перед сном или в тихом одиночестве возникала успокаивающая мелодия, сладостное завывание, как воркованье незримого голубя с неповторимым ритмом: «Мгуа-мгуа-мгуа», – уговаривание и счастливый плач.

Порой, входя в квартиру с улицы, она боковым зрением видела разбегающихся серых зверьков – то ли зайцев, то ли узкотелых ласок – и принималась искать их, никогда не находя.

Друг ее смеялся таким рассказам, и она таила теперь подобные происшествия, понимая, что это похоже на симптомы психопатии.

Засыпая, она иногда чувствовала себя лежащей на каменной белой плите, похожей на огромное надгробье. И ощущала себя такой большой, с тяжелыми руками и ногами, и так крепко прижатой к плоскости, что будто даже не могла шевельнуть пальцами.

Как-то она читала допоздна в постели и вдруг была увлечена танцем неизвестно откуда взявшегося гусиного хвостового пера. Стоямя поднявшись на полу, оно распушилось от сквозняка, и его лакированная ость согнулась раза два, вычурно ей кланяясь. Но когда она встала, чтобы схватить этого не в меру расшалившегося, нахального мизерабля, ничего не оказалось на паркете, и она долго ползала в недоумении на коленях, заглядывая под кровать.

16

Она писала стихи и, как говорили однокурсницы, гениальные. Но с публикациями ей не везло.

Время от времени она ходила по редакциям журналов в надежде пристроить свои опусы. В коридорах там обычно слонялись ждущие приема авторы. Поэты охотно предлагали, а иногда просто навязывали ей посмотреть свои произведения. Немало было среди них людей психически явно нездоровых, с путающейся речью и судорожными движениями. Как-то изможденная немолодая женщина с прической «ракушка», в сером, козьего пуха платке на плечах, жаловалась ей: «Не печатают, а мне надо в Союз вступить!».

В знаменитом комсомольском журнале («цекамовском», как говорили тогда) поэтов принимал лохматый прокуренный человек с ироническим взглядом.

Моя поэтесса входила, глубокомысленно потупившись, и садилась, пряча под стул ступни в старых ботинках. Консультант брал стопку стихов и сначала, зажав листы в правой руке, щелкал пачку по ребру, как бы оценивая, не много ли. Потом быстро и равнодушно читал, иногда сосредоточенно выверяя рифмы, и вдруг вскидывался: «Ваши стихи?» Она кивала, боясь сказать, что уж она не в первый раз приходит. Он читал все до конца, решительно откидывая прочитанное и в то же время глубоко затягивая в бронхи сигаретную теплую отраву. Затем метил особыми знаками – крестом и минусом – две-три страницы, упирался лбом в собственную ладонь и, тыча тупым концом карандаша в текст, говорил басом: «Это банально. Это свежо, но не ново. Не дотягиваете вы до современного уровня, хоть вы и не графоманка. Попробуйте что-нибудь эпическое. Мне вот это нравится. Но ваши стихи очень уж беззащитны. Как их защищать перед редколлегией? Их надо подпереть. Может быть, у вас есть другие стихи?» – «Какие другие?» – не понимала она, пугаясь. «Давайте договоримся, я беру вот эти, а вы пришлите мне в конверте пару гражданских стихов. Подборке нужен паровозик, такое стихотворение, которое вывезет остальные». Это был самый благожелательный консультант, после чего она, радостная, шла по улице, хоть и знала, что послать ей в журнал нечего. А гражданские стихи ей были известны из школьного курса литературы: «Люблю отчизну я, но странною любовью».

В других местах ее встречали гораздо хуже. Как-то случился такой эпизод. В редакционном предбаннике бледный и весьма уже немолодой человек читал стихи о том, как он видит свою любимую – трупом со снятой кожей («плоть как разбитый арбуз»). Когда подошла очередь моей стихотворицы, он вскочил в святая святых впереди нее с криком «Напечатайте ее!» – должно быть, в благодарность за то, что она сочувственно выслушала его коридорные завывания. На это ответственный сотрудник журнала, взревев: «Мы – профессионалы!», выхватил из рук нашей барышни ее листочки и, выкрикивая по одной начальной строчке каждого стихотворения, возмущенно вопрошал: «Это напечатать? Это напечатать?». И затопал на нее, бед-

ную, ногами: «Мы не допустим пейзажной лирики и не допустим любовной лирики в молодежном журнале!»

Действительно, все ее стихи были о любви, и все они были посвящены одному лицу, которое представляло как некто длиннопалый и смуглолицый. Красота адресата особенно отвращала от стихов вершителей поэтических судеб. Да еще: ее строки пестрели старомодными оборотами и чуть ли не цитатами из Библии («Глаза твои голубиные»), и в журналах нюхом чуяли что-то опасно архаическое в тексте.

Но и ее возлюбленный стихов этих не знал и, даже когда она пыталась прочесть ему вслух («Новое придумала»), говорил: «Не надо, я в этом ничего не понимаю». Он не обольщался насчет ее даровитости, а поэзии вообще не любил и относился к стихам слишком рассудочно. И переспрашивал желчно, когда она читала вслух Пастернака: «И таянье Андов волеет в поцелуй»? Это как-то противно и получается: холодные слюни. А разве не унижительно для женщины: «Он вашу сестру как вакханку с амфор поднимет с земли и использует».

17

Однажды на свалке железного лома у Киевского вокзала он нашел старый печатный станок, выкупил его у сторожа, и привез домой, подрядив на вечер фруктовую тележку. Долго возился с наладкой, вызолотил бронзовкой дату «1875» и рельефные листья, украшавшие чугунную станину и, наконец, обильно смазав черную машину маслом, опробовал пресс.

Он всегда любил рисовать и в Бауманском, куда срочно поступил после десятилетки, чтобы не попасть в армию, легко сдавал бесконечные чертежи, быстро справляясь с проекциями, над которыми кряхтело большинство его сокурсников.

Еще в школьные годы, когда они вернулись с матерью в Москву, он занимался в студии и ходил с папкой ватмановских форматов в районный дом пионеров. Там, в светлой комнате с высоченным потолком, стояли на подставках гипсовые слепки с античных голов под сатиновыми черными накидками, и учитель, задав юным дарованиям рисовать кувшин или чайник, ходил медленно между столами, монотонно повествуя о своем гимназическом детстве.

Технику гравюры на дереве мой герой представлял из разговоров студентов, когда подрабатывал позированием в Строгановке. Надо было сделать такие плахи, чтоб дерево при высыхании и хранении в тепле не коробилось, а доска всегда оставалась плоской. Сначала он договорился с работягой о сосновых и заказал доски по цене три рубля за штуку. Но, когда рассмотрел полученные изделия, понял, что они склеены неправильно, что от сырости доска пойдет горбом, и решил их делать сам, начитавшись дореволюционных брошюр по художественным ремеслам.

18

В «ящике», где он работал, кроме планового оборонного производства всю кипела «левая» созидательная деятельность. Стеклодувы, запаяв сотни ампул со стратегическим содержимым, отправлявшимся в хранилище, занимались изготовлением смешных глазастых фигурок и даже рюмок. И в разгаре производственного романа с какой-нибудь лаборанткой влюбленный мастер преподносил даме сердца традиционный подарок, стеклянного чертика с характерным отростком. Внутрь черта можно было наливать воду, «чтоб прыскал». Из иностранных пивных темных бутылочек, размягчив стекло нагревом в муфеле и специально смяв «чекушку», изготавливали занятные пепельницы с длинными ручками.

Слесаря вытачивали всякие необходимые в хозяйстве металлические детали, которые в нашей, самой передовой по производству чугуна и стали стране, невозможно было купить ни за какие деньги. Эти вещи никогда не производили серийно, потому что вынести их на продажу

через проходную было бы трудно. Изделия курсировали внутри самого предприятия. Обычной платой был спирт, который являлся эквивалентом всему. Все имело свою таксу, от наладки лабораторного оборудования по наряду до смоления лыж и починки утюга. Денег не брал никто, даже обиделись бы, если спросить, сколько стоит работа, но за двести граммов этанола творили чудеса.

Если у сотрудника была какая-нибудь хозяйственная надобность (человек знал, например, что официально наточить ножницы – дело абсолютно нереальное, частники-точильщики, такие обычные персонажи московского быта еще в шестидесятых, как вымерли), составлялась служебная записка о необходимости тех или иных спиртоемких процессов: либо экстракции примесей из рабочей жидкости агрегата, либо протирания стекол в микроскопе. Обычно острили, что типовая просьба – на протирку оптических осей.

Мотивация заявки была строго научной, но и хозлаборант, оформляющий требование на спирт, и начальник, подписывающий бесценный квиток, и замдиректора по хозяйственной части, налагающий резолюцию «выдать», прекрасно знали, что предназначена жгучая влага совсем не для того, что понаписано в бумаге, и что спирт будет отдан человеку за услуги и обязательно выпит. «Не подмажешь – не поедешь», – говорили в «ящике», органично связывая прежний опыт Руси с новым содержанием жизни. И заботой отдела техники безопасности, особенно после того, как в соседнем заведении ослепли, хватив метанола, двое электриков, было – обеспечить такое качество реактива, чтобы от принятия его на рабочем месте сразу никто не умер.

Технический спирт, который, как говорится, гнали из елки («из табуретки»), брали охотней, чем абсолютизированный, отдающий ацетоном, и даже предпочитали его ехидно пахнущему медицинскому, который полагалось держать в производственной аптечке.

Кстати сказать, слухи о запасах спирта, хранящихся в сейфах лабораторий, неизменно будоражили воображение охраны, которая ненавидела ИТР не только за то, что те сидят в теплых помещениях целый день, но и за особую близость, как считала вохра, к благоуханному источнику радости. Однажды под утро при плановом обходе этажей сторожа, у которых, как видно, душа горела, не сумев подобрать ключей к малому лабораторному сейфу, где, как они знали, был спрятан спирт, так неистово трясли и кувыркали стальной коричневый шкафчик, что заветная бутылка разбилась и удалось-таки опохмелиться, собрав вытекающую из щелей «огненную воду».

И все, не только работяги, но и респектабельные старшие научные сотрудники не стеснялись присваивать веселящую жидкость, правда, понемногу, хотя рассказывали об особой дерзости одного деятеля, сварившего из стальных пластин полый пояс-флягу с пробкой, позволявший выносить на животе сразу до литра.

Считалось, что продукт обязательно контролируется на предмет питья, и большинство сотрудников было уверено, что государство не подведет в смысле процента сивушных масел.

Даже «лорды», сотрудники лаборатории ядерного магнитного резонанса, не гнушались заложить за галстук во время рабочего дня, правда, предварительно сняв спектр реактива, и тот, в котором был ацетон или альдегиды, не пили.

А практичные дамы-инженеры, экономя ежемесячно выдаваемые им на аналитические определения сто граммов, заказывали умельцам различные изделия, например, столовые ножи комплектами по шесть и двенадцать штук, прекрасно режущие, с полосчатыми пластмассовыми ручками, техника изготовления которых шла из традиций уголовного мира. И во вполне приличных домах появлялись при сервировке стола эдакие кинжалы, острые, как финки уркаганов.

Он заказал штихели с желобками полумесяцем и долота разного сечения, через два дня получив их в обмен на пол-литра спиртяги.

Из книжки по истории литографии и пособия по собиранию гравюр наш герой уже знал, как различаются глубокая и высокая печать, что в обрезной гравюре волокна дерева лежат в плоскости рисунка, а изображение получается черным штрихом по белому полю. Он пьянел от названий «меццо-тинто» и «сухая игла» и по-новому увидел вдруг любимые книжные иллюстрации, понимая, сколько труда вложено, например, в «Святое семейство с тремя зайцами». Но фигурировавшие в описаниях вещества, такие, скажем, как рыбий клей, исчезли из человеческого существования, и надо было придумывать что-то взамен.

Планки от фруктовых ящиков – розоватый бук из Палермо, очень плотный – такой и нужен, чтоб после резки не заваливались края линий – он склеивал, зажав их в струбцину, потом выравнивал рубанком, шлифовал наждаком до нежной гладкости, затем проходил еще куском сукна. Наносил на полированную поверхность слой пчелиного воска, ошалевая от медового аромата, натирал бархоткой поле доски, так что оно казалось желтым зеркалом, и когда клал скалькированный рисунок на эту сверкающую поверхность, тот отпечатывался на ней, чудно освещаясь цветом древесины.

Чтоб этот зыбкий отпечаток на доске стал выпуклым, надо было ножами вынуть фон. С обеих сторон черты он делал наклонные резы навстречу друг другу, сметая щеткой продолговатые кусочки дерева и углубляя поверхность доски вдоль линий изображения. Потом, легко постукивая по долоту деревянным округлым молотком, начинал выщербливать те места, которые должны остаться белыми. Наносил на рельеф тампоном типографскую краску, ставил доску под пресс и притискивал к ней бумагу в станке.

В первом отпечатке штрихи от неумелости были слишком грубы, а изображенные воины держали мечи в левых руках. Некоторые выступы скололись, краска неряшливо затекала в промежутки между линиями, а в местах, которые должны были быть черными, обнаруживались мелкие пролысины. Но радость от этого труда была так велика, что он, не прощая себе технических промахов, предвосхищал успех: «Сделаю!».

Он добыл уже и угловые стамески, и рубанок с острым скругленным лезвием, и рубанок с волнистым режущим профилем, и набор шлифовальной бумаги – от корундовой грубой до бархатистой.

Вдруг все: зрение, осязание, даже наблюдение за движениями собственных мышц, – стали служить придумыванию гравюрных сюжетов, измышлению приемов резания, усовершенствованию техники. И теперь каждый литературный текст разворачивался картинками и по-своему выставлял графические детали.

У него не было взгляда художника, к любому предмету он подходил как конструктор и мысленно анализировал, разглядывая свою прелестницу, единственную его модель: как нога крепится, где центр тяжести при таком-то наклоне вперед? И на грудь смотрел, удивляясь полусферам, смотрел, как ей казалось, оскорбительно изучающим взглядом, не помня, кто перед ним, и смотрел без любви. Каждую вещь ему хотелось нарисовать, и он мысленно членил предметы на сопряженные друг с другом цилиндры, конусы, торы...

20

Она рассматривала похожих на манекены женщин на оттисках и спрашивала: «Это физика твердого тела? Но почему гравюра, чтобы тиражировать?»

«Я – инженер, – отвечал он. – А здесь много технических задач».

Он понимал, что гравюры в манере Дюрера или японцев бесперспективны для нынешних сюжетов. При всем пиетете к старым мастерам он не мог им подражать не только потому, что не обладал должным мастерством. Чувствовал, нынешний мир не выносит, не хочет при-

нять того вглядывания художника, той пристальности в подробностях, которые есть в старинных работах. «После Сезанна, – говорил он, – все изменилось, каждый предмет перестал быть самим собой, он часть общей материальной формы. Квадратная бутылка – воплощение всех стеклянных прозрачных кубов. Для дерева неважно, какой оно породы – только объем и конфигурация кроны. Сезанизм совпал с техническим прогрессом и машинной эстетикой, и в живом стали искать сходства с неживым».

Он сотворил несколько удачных ксилографий и украсил ими комнаты, приклеив к обоям узкими полосками лейкопластыря. Представил в этих картинках всю свою жизнь: их комнату, печь с заслонкой, комод с ореховыми завитушками, старую лампу и кресло возле стола без скатерти, и будильник под стеклянным колпаком.

Затем он сделал портрет загубленного своего отца – строго, лаконичным штрихом, поставив собственные инициалы, как монограмму художника, в крестовине тюремного окна над родительской головой. Чтобы воспроизвести отцовский облик, который возникал только в секундных вспышках памяти, мой мастер подолгу разглядывал собираемые матерью фотографии. Среди них, между прочим, было и его собственные фото. На снимке, который в свое время сделали в арбатской мастерской, чтобы послать отцу в лагерь, наголо остриженный хмурый второклассник сидит в кресле, а на коленях у него огромный альбом репродукций, и открыт альбом на странице с картиной Репина «Не ждали». Может, случайность, а, может, фотограф о чем-то догадывался.

Он пробовал работать в технике торцовой гравюры, выбрав линии рисунка штихелем, так, чтоб оставалась углубленная канавка на поверхности доски. Бесконечная стружка вилась и вилась из-под резца. Прорезанная бороздка получается столь узкой, что не заполняется потом краской и дает белый штрих по черному фону. В такой технике он отпечатал «Изгнание из рая». Бегущие фигурки Адама и Евы и гигантское тело змея, мощными извивами опоясывающее темное поле листа. В этом змее читались и натуралистические формы пресмыкающегося, и продолговатая плоть поезда, где едут спрессованные люди, и гигантская, с регулярными утолщениями цепь. Эту кулаковую цепь грехов его подруга, единственная свидетельница творческих мук художника, помнила в новгородской иконе. Правда, наш гравер не был удовлетворен технической стороной дела, фон испортило мельтешение тонких линий, пропечатались горизонтальные швы в местах склейки планок, а на бумаге таинственно проявились годовые кольца дерева.

Его автопортрет, считала она, был самой лучшей гравюрой: четырехугольный череп, беспощадно диагностирующий перенесенный в детстве рахит, неестественно изогнутые брови и складки на переносице. Днем, в приступе тоски, она смотрела на этот его лик с нарочито несимметричными тревожными глазами и резкой щетиной, которую тонким долотом свирепо выдолбил он, потому что фактура древесного среза была сродни природе его лица и мускулистой шеи. И грубый свитер из рижской пряжи, связанный ею самою, тоже был запечатлен резцом, с такой тщательностью, что шерстяные соты казались выпуклыми.

И все же техника гравюры на дереве не давалась ему настолько, чтобы получить то, что он хотел. Тогда он попробовал сделать офорт. Сплющил под прессом старый медный кофейник, зачистил поверхность получившейся пластины шкуркой, предназначив эту единственную металлическую основу для портрета своей возлюбленной.

Он нанес на поверхность тонкий слой лака из бараньего жира, а затем, быстрыми точными штрихами, не отрывая руки, вывел грустный профиль, взгляд в бесконечность, чувствительный неправильный нос... И самую тонкую притупленной иглой прямо по лицу, сверху наискось по всему медному листу – длинные волосы, перечеркивая ее личико и оттенив худобу прозрачной шеи и легкую припухлость горловой железы. Протравил рисунок азотной кислотой, терпеливо ожидая эффекта, чтоб каждая бороздка стала глубже и заусеницы краев потом хорошо смачивались краской. Вымыв доску и скипидаром удалив лак, намазал поверхность

металла типографской сажой, долго осторожно втирая ее кожаной подушечкой, сшитой из старой перчатки, чтобы впадины заполнились черным, а плоскость оставалась абсолютно чистой.

Прижав пластину под прессом к сыроватому бумажному листу и выждав минуту, чтобы пропечаталось всё до малейшей царапины, он вынул оттиск, на котором бумага от черноты линий выглядела зеленоватой. Но, как оказалось, тонкие впадинки в металле всё же прокрасились слабо, как будто нежность сдерживала нажим его руки в работе и помешала сделать штрихи достаточно решительными. Линии были с рваными краями, серым пунктиром передавая близорукость взгляда и маленький клювик в середине верхней губы, и складки уныния по сторонам губ – всё, что он знал уже безоценочным зрением и всем своим естеством. Отпечатки были невзрачны и пестрели внеплановыми точками, но несовершенство изображения вдруг словно открыло всю сущность этой женщины, беспомощной и кроткой до мазохизма.

Она радовалась этим листам, с горделивостью и благоговением смотрела, как он, не поднимая глаз, точными движениями режет дерево, смахивая мягкой щеткой спиральки стружки, похожей на кудри у мадонн Кранаха. И хотя втайне она ревновала друга к этой работе, из-за которой тот по несколько дней как бы не замечал ее и забывал с ней разговаривать, его преданность делу вызывала в ней уважение. И она любила тогда по-другому (не как ночью) это напряженное лицо с вспухшей синей жилой на виске, с высунутым пылающим языком, лицо, на которое она в такие минуты смотрела с восхищением.

Дни пролетали как бы без промежутков сна, когда он механически выключался, а потом думал, думал, бился над одной и той же задачей – ракурс, композиция, сечение резца. Это была особая умственная работа – придумать изображение и воплотить его в обратном виде на доске. Однако таким образом он побеждал отвращение к себе. А ведь однажды было даже так, что, созерцая свою физиономию в зеркале во время бритья и увидев вдруг угрюмого дегенерата с набрякшими веками, он подумал о том, как это легко – перерезать себе горло. Но теперь он освобождался от своего вечного безволия в страшной мешанине жизни, забывая о себе и в то же время радостно ощущая себя, и любил все далеко вокруг себя.

21

На Пасху наша хозяйственная героиня красила яйца луковой шелухой, которая давала тона от светло-желтого до густого красно-коричневого. Карандашами нарисовав на них листья, завитки зеленых усов и ягоды земляники, она выкладывала потом крашенки в плетеную тарелку из болгарской соломки. Он подарил ей узорчатое эмалевое яичко с золоченым барашком сверху, на штифте. Яичко разнималось на две части и внутри было белым, с сетью мельчайших прожилок на стенках. В полости его лежали свинчивающиеся половинки крошечной ложки с витым стерженьком. Эта штучка, превращающаяся из безделушки в рюмочку, сохранена была его матерью и, должно быть, связана с памятью о деде. Он взял яйцо без спросу и оправдывался потом перед родительницей, говоря, что все равно вещь осталась в семье.

В мае в раскрытое окошко залетел маленький попугай, субтильное создание с зеленоватым ободком вокруг короткого клюва. Он сел на стол и больше не хотел улетать. Крылья, слабые от житья в клетке, не могли носить его, и он остался в кукольном жилище, внося заботы о просяном корме, рано-рано просыпаясь и радуя наивным тарахтеньем хриплого голоса. Он сочетал в оперении несколько голубых оттенков: почти белый пух головки становился сероватым волнистым узором на груди и под лапками, а маховые и хвостовые перья поражали свежестью тропической лазури. Потягиваясь и томно расправляя поочередно то одно, то другое крыло, он давал хозяйке любоваться цветными перышками, обычно скрытыми от обозрения. Грაციозное тщедушное тело его еле держалось на четырехпалых сухих ножках. По клеенке он ходил вприпрыжку и скользил, как неумелый конькобежец, по одеялу ковылял с трудом и вообще был существом скорее ползучим, нежели летучим. Вечером, когда читали вслух под

лампой, он садился на руку хозяйке, обхватив когтями ее большой палец и тараша оранжевые зенки.

Попугай погиб странно. Через улицу, в консульстве Индонезии, в доме, набитом смуглой детворой, постоянно сидевшей в окнах, несколько раз в день играли на необычном инструменте. Трагические, невероятно низкие ноты звучали так, что слышно было на целый квартал. В это время с птицей что-то происходило: развесив крылья по сторонам малого туловища, попугай весь сеанс игры (как подозревали мои герои, работы радиопередатчика) сидел с раскрытым клювом, закатывая зрачки под старческие белесые веки, и приходил в себя только после того, как странные звуки замолкали. В августе, после очередного концерта их любимец уже не открыл глаз: инфрамузыка его доконала.

22

Вишня перед домом у них давно отцвела, пчелы успели опылить ее цветки, и она дала россыпь ярких ягод. Они налились на солнце и краснели на спущенных до земли ветках. Вокруг старых пней во дворе пробивались пруты молодой тополиной поросли, так что трескалась земля. Острые ростки пасынков, расталкивая песчинки, вылезли вверх, пахучие, с лакированными листьями.

Этот пустырь в самом центре огромного города на месте снесенного дома зеленел свежим бурьяном и лебедой с крахмальным налетом на листьях, осенью изредка радующей взгляд малиново-красным листком. Пастушья сумка прозрачно поднимала треугольники семенных коробочек, белел пустыми колосками овсюг. Одичавшая сирень была обвешана ржавыми сгустками увядших соцветий. Высокая полынь настаивала воздух горечью. Кусты выродившихся «золотых шаров» были так высоки, что можно было спрятаться под них и невидимо сидеть среди желтых головок, синхронно качающихся от ветра.

Как-то они договорились, что она встретит его после работы. Она вбежала в проходную «ящика» при первых раскатах грозы и стояла у вертушки, наблюдая, как народ радостно вываливается наружу. От корпуса научных лабораторий до выхода было хода минут семь. Дождь, начавшийся в последний момент рабочего дня, окатил нашего героя холодной равнодушной волной. Несмотря на то, что он пробыл под ливнем совсем немного, плечи стали мокрыми, и когда он проскочил контроль, с волос текло. Совершенно не отдавая себе отчета в том, что кругом люди, она бросилась ему на шею, блаженно подставляя глупую рожицу под струйки воды, стекающие с его головы. Они вышли на тротуар. Дождь внезапно прекратился, и на солнце серебристо блистала омытая листва тополей. Последние капли висели у него на мочках ушей, нереально сверкая, и она целовала его, пытаясь поймать открытым ртом брызги этой радужной пресной влаги.

Возле метро он купил ей две невероятно крупные гвоздики – розовую и белую – с мясистыми чашелистиками на длинных стеблях. В их аромате было тонкое различие, которое сам он не мог уловить. Она же, закрыв глаза, узнавала цвет по запаху, когда он подносил к ее лицу то один, то другой цветок. Не веря в такую, недоступную для него чуткость обоняния, он ворчал, что она подглядывает. И, если, глядя на нее, с усердием смежившую веки, он успевал поменять цветок в миг между ее вдохом и выдохом с названием цвета, то смеялся над ее обиженным видом и такой ее упорной уверенностью в точности своего нюха и покрывал мелкими поцелуями ее разочарованное личико. Потому что, не чувствуя разницы в запахе гвоздик, он знал, как разн пахнут губы и щеки, и ее грудь у подплечной впадины. И все это любование цветами происходило прямо на улице, на виду у публики, которая смотрела на них во все глаза. А они ничего не замечали, занятые только друг другом.

23

Летом в субботу отправлялись за город и ехали по Киевской дороге до Лесного городка, где почти никто не сходил с поезда. Шли вдоль заброшенной одноколейки, любуясь земляничными листьями. Доходили до лужайки, садились, и она плела гирлянды из собранных цветов, обматывая себе ими плечи и шею. Все шло в дело – и лютики, и фиолетово-желтые иван-да-марья, и бледно-голубые султаны вероники. Его голову она увенчивала зеленью, а он пытался таскать ее на руках, как Дафнис Хлою, и баюкал, уложив ее голову себе в колени. И, оберегая от холода земли, просил «Ляг на меня!», чтоб она покоилась, легкая, на горячем его торсе и укрывала распущенными волосами обе головы. И сквозь рыжеватые пряди можно было, не щурясь, смотреть вверх, на солнце, слушая высоко повисшее трепыханье жаворонка.

Еды с собой они никогда не брали. Пили из деревенских колодцев, если к цепи ворота было привешено ведро, рвали выродившуюся вишню, там, где высывались из-за заборов ветки. Набрав в горсти ягод, ложились на солнышко где-нибудь посреди поля. И когда он брал вишенку в рот, она шутливо отнимала ее, вытягивая ягоду губами и настигая кислый кругляк ищущим языком.

Возвращались, отыскивая направление по самолетному гулу, разглядывая огороды за неряшливыми изгородями: плети огурцов, цветки чеснока, черепки битой посуды на оголенных грядках, ветошь, вывешенная сушиться, – и он видел, как по рембрандтовски живописно старье. Глядя на пыльные цветущие кусты по обочинам дороги, она останавливалась и, обдувая щеточки тычинок на кустах жимолости, приговаривала: «Я хочу, как жалости и милости...»

Множество собак, собравшись стаей, ходили кругами в ореховом подлеске, не лая и не рыча и вообще не обращая внимания на людей.

На свету она очень шурилась и улыбалась ему и, когда, усталые, они возвращались в Москву, садилась напротив него на желтую, деревянными планками набранную скамью вагона, глядела, мысленно окликаая его по имени, а он смотрел на нее и вспоминал рисунок Дюрера, улыбающуюся женщину с двойным подбородком и складкой удовольствия на шее.

Вблизи города за окном электрички лежала поруганная развороченная земля, с которой содрали травяной покров, превратив в кладбище отходов человеческого существования – изрытая канавами, захлавленная ржавым железом, отторгнутая от живого мира. «Человек уничтожает природу ради нейлоновой сорочки или консервной банки с яркой этикеткой, а, может, из охоты долбить один кусок металла другим куском металла, убивая все по-настоящему живое, чтобы засеять мир своим ущербным потомством», – проносилось в голове моего критически настроенного героя. Но, слава Богу, у него хватало ума промолчать.

Иногда она везла с собой из леса букет таволги или липучей смолки, а он ворчал, что она жадностью губит природу. Однажды, когда они вернулись из-за города, на выходе со станции «Кропоткинская» к ним бросилась какая-то девушка, спросила, указывая на ее букет крупных колокольчиков: «Где вы купили?», и заметалась по площадке перед метро. Тут обычно продавали цветы, смотря по сезону, – то ландыши, то белую ветреницу, то купавки. Видно, девушке очень нужны были цветы, и наша счастливица, догнав, протянула ей свой букет: «Возьмите!» Восхищенный этим жестом, он обнял подружку: «Давай, все отдадим!» Но ничего, кроме этих фиолетово-голубых колокольцев с зелеными хоботками пестиков отдать они не имели.

Ей нравилось есть жареные пирожки на улице, пить газировку из автомата, она любила дешевое фруктовое мороженое. Ее тянуло в забегаловки, где стоя едят пельмени с уксусом. А на вокзале она жалостливо вглядывалась в лица мешочниц и морщинистых матерей, тащивших огромные авоськи и прикрикивающих на своих замурзанных отпрысков. Она подавала нищим и полупьяным калекам, проходящим по вагонам, и оправдывалась: «Это не ему, это

мне нужно, и мне больше, чем ему». Слушала старух в очередях. Его злило такое ее любопытство, он называл это плебейством.

Как-то, вернувшись домой, она обнаружила на лестнице перед входом в квартиру мужчину, лежащего на полу, так что ноги свисали вниз со ступеней. Мужик загородил узкий проход, и пришлось осторожно переступить через его руку. Кадык, весь в черных точках щетины, торчал кверху и дергался. Слава богу, живой!

Она вцепилась ногтями в «чертову кожу» спецовки и втянула его в кухню, боясь, что он свалится вниз с крутой лестницы. Протащила всего полметра и больше уже не могла сдвинуть с места тяжелое квелое тело. Она понимала, надо человеку помочь, но инстинктивно отскочила от его шарящих ладоней. Потом отперла дверь и принесла воду в миске, пачку ваты и стала обмывать ему ссадину на лбу, отбрасывая красные грязные тампоны. Он открыл глаза, поглядел снизу вверх на нее и закатил зрачки, ничего не соображая. Кислый запах, подергивание лохматой головы, сбившиеся кудри на висках – все в крови. Он попросил слюняво: «Дай попить!» Приподнялся и напился, заливая воду за ворот изношенной рубахи. После этого попытался встать, и она помогла ему, но, минуту постояв посередине кухни, он повалился вперед и ударился о доски пола лицом, так что через мгновение плахи обагрила, затекая в щели, кровавая жижа. Она поняла, что нужно скорей вызвать врача.

Услыхала, как застучали ножищи по деревянной лестнице. Двое работяг в заскорузлых робах ворвались в кухню, тяжело дыша, и тут же стали поднимать лежащего своего товарища, оглядываясь на хозяйку: «Не надо скорую! Это выпили мы, зашибли его нечаянно». И загромыхали вниз, таща безвольного собрата так стремительно, что тот не успевал перебирать ногами и съезжал по ступенькам на ягодицах.

Когда вечером, рассказывая о происшествии, она проговорила о том, что побежала было за «скорой помощью», не заперев дверей, повелитель ее взъярился: «Вечно лезешь не в свое дело! Что тебе до него?». Она расстроилась от такой несправедливости, не догадавшись, что это ревность.

25

Однажды она упросила его пойти на танцы. Парк культуры и отдыха тянулся заасфальтированными дорожками вдоль реки, от которой, однако, не исходило прохлады. Пыльная зелень кустов шуршала жестяными листьями, по всей территории тошнотворно несло пивом. Отвратительный запах аммиака смешивался с табачным духом.

Веранда для танцев стояла в болотце, на деревянном настиле, окруженная желтушным забором. Уродливый трилистник бетонной кровли защищал ее от дождя, но и там пахло человеком, прокисшей сыростью и куревом. Сквозняк обдавал плечи, а истошное сияние неприкрытых ламп резало глаза. Мой герой, с трудом подавляя отвращение, разглядывал то, что было кругом.

Оркестр состоял из краснолицых молодых людей. Они не знали в точности ни одной из исполняемых мелодий. Любая пьеса выходила у них такой затянутой, такой унылой, что для придания танцу темпа потный ударник принужден был без конца дергаться, одновременно отбивая барабанный такт и срывая звуки с визгливых тарелок.

Плотная толпа танцующих на истертых досках площадки сначала удивила невыразительностью физиономий. От слишком яркого верхнего света злобещий серый оттенок лежал на лицах, резко чернели глазные впадины и углы ртов, а лбы и щеки блестели жирной белизной.

Тщедушные девочки с волосами, протравленными перекисью водорода до желтизны, с грубо обведенными глазами, были в танце почти угрюмы. Взгляд уставлен в пространство чуть выше плеча партнера. Их облик вызвал у наших героев жалость: острые ороговевшие локти, куцые юбки, бледные ноги с синим отливом гусиной кожи и по-птичьи сухими коле-

нями. Сквозь майку едва угадывались порой неразвитая грудь, лопатки и вертикаль позвоночника. Одна из танцорок, нервно переступающее с ноги на ногу хилое существо, красовалась в замше: полоска бахромы, едва прикрывая ягодицы, болталась в плясовом движении, невольно привлекая взгляд.

Несколько блондинок постарше – в белых водолазках и с распущенными волосами, эдакие феи – демонстрировали выразительные выпуклости, мощный бюст, недержимый лифом, вывороченные губы. Щеки красавиц, лишённые плотской упругости, при контрастном освещении, казалось, как-то странно тряслись отдельно от лица. Серые обветренные руки девушек с ногтями, покрытыми ярким лаком, вжимались в предплечья кавалеров. Прыщавые длинноволосые юнцы с неподвижными плечами, в брюках клеш или джинсах, отделанных понизу полоской металлической «молнии», отплясывали, не глядя на своих дам.

Некоторые пары танцевали, тесно сомкнув лица, не обращая внимания на остальную публику, как она колышется в ритме чудовищно искаженных банальных мелодий. Лица влюблённых, разомлевших от близости, выделялись в толпе румянцем, блеском глаз, очертаниями ртов, разнежено набухших.

«Страшно смотреть!» – говорила наша поэтесса по пути домой.

«Какое нам дело!» – отвечал раздосадовано ее строгий возлюбленный, не прощая ей впускую потраченного вечера.

«Я чувствую вину. Это мой народ!» – темпераментно возражала она ему со своим дурацким народническим пафосом.

«Это не народ, а население».

«Они несчастны».

«Нет, они все счастливы, но не по-нашему», – отрезал ее угрюмец.

26

Сам он разглядывал и сортировал лица в транспорте, выискивая колоритные типы – то старуху в глухом темном платье, с челюстями, по брейгелевски окостенелыми, то в германском духе мужчину: крупный благородный нос и борода с пятном седины. Когда они увидели этого человека на улице, вдруг вместе в один голос вскрикнули: «Гольбейн!», пугая прохожих. И посещение танцплощадки, вид этих людей, их полупьяные лица не прошли для художника даром. Он задумал вырезать и запечатлеть это ощущение комка тел, но так, чтоб видение не было сатирическим. Он не хотел шаржа, той издевки в изображении страшноватых масок, которая была в случайно увиденных им картинках немецкого экспрессионизма. Тут надо было, чтоб читалась трагедия.

Вернувшись в свою кукольную квартиру с разводами на потолке и щелястыми полами, они снова и снова искали друг друга руками в темноте. И тогда, смешивая воспоминания с толкованием недавних событий, ощущая значительность внезапно выплывавших из памяти эпизодов своей судьбы, она говорила, что давно, заранее готова была к этому чердачному бытию, что всеми пристрастиями была предопределена ее такая романтическая жизнь с ним. И чужие стихи расцветали в ней. И он видел, как уходила ее фальшивость, привитая целой системой стандартной педагогики и советского искусства, и он дожидался глупого, почти неприличного, хмельного ее лепета, несурзных и смешных слов и похвал его телу, когда, отверзая себя, она ступнями держала его, чтоб теснее приникнуть. И этот выдох радости – почти беззвучный, сильный поток воздуха, вытолкнутого из легких стенанием «Боже мой!».

27

Иногда она читала ему вслух, он не любил того, что она читала, но терпел. Мои герои оказались людьми, в общем-то, разных взглядов, хотя раньше он никогда не думал, что у нее могут быть стойкие представления о жизни. Она притащила «Иностранную литературу» с «Женщиной в песках» Кобо Абэ, и он слушал историю энтомолога, которого принудили жить в деревне, засыпаемой песком, используя его как необходимую рабочую силу. И возмущался неправдоподобностью описанного. «Но ведь и мы так живем», – сказала вдруг премудрая его подруга. «Когда уроды не выпускали его из пустыни, надо было убить их!» – заявил он. «У-би-и-ть? – спросила она с расстановкой. – Да разве можно убить? Ты мог бы?»

Они были совершенно не похожи друг на друга – особенно в отношении к материальному миру. Он терпел жизнь, она жизнью наслаждалась, – даже бытом, даже стиркой.

Нашего художника раздражало ее усердие в организации уюта, когда она украшала дом черными пупырчатыми ветками лиственницы или, за неимением вазы, укладывала цветы в тарелку, опирая белые их головки на покатые края.

Он не замечал вкуса пищи, привыкший к режиму недоедания с детства. Она любила еду и относилась к каждому яблоку как к подарку природы. Сначала были у нее восклицания по поводу таких вещей, как трехслойный мармелад или мандарины, и выкрикивания вроде «В трюмо испаряется чашка какао!», но она стала сдерживаться, видя, как его раздражает изъятие радости по поводу жратвы.

Она превращала в церемонию и заваривание чая, и нарезку овощей для салата (все пичкала его витаминами), а он и не замечал, как торжественно она подает ему ломоть «бородинского», и не догадывался, что когда она разламывает пополам этот кусок хлеба с зернышками тмина на корке, совершается некое священнодействие...

Он же не выносил запаха кухни, бульонного жирного пара, вида жареного мяса. Он сам не понимал себя, но ему не хотелось, чтобы создание, причастное его бытию, упивалось сластью насыщения, было плотоядным, тогда как от одной мысли об убоине его самого мутило.

Он был дневным существом, а у нее к десяти вечера разгорался румянец на щеках, мотыльковое ее сознание вступало в фазу особенной восприимчивости, речь становилась четкой, и сообразительность удваивалась, так что задачи по физической химии, которые не давались днем, к ночи она могла щелкать, как фисташки.

Как ее восхищало его тело, как умиляло всякое отличие от ее собственного облика!

28

Днями, без него, она томилась. Поэтому, когда стала приходить ласковая большеглазая кошка, легче сделалось терпеть дневное время. Кошка почти ничего не ела и ничего не весила, но от избыточного пуха казалась большой. Сзади на лапах ее висели комья тончайших волосков – как штаны. Еще зимой, в страшные морозы у нее появились котят, и она, полуживая, длинная, с увеличенными сосцами залезала на кухонное оконце, выходившее на лестницу, и стучала в стекло.

Два родившихся у нее котенка долго жили на чердаке, к весне они подросли и, вылезая на крышу погреться, играли дрожащими ветками ясеня, внезапно выпрыгивая из слухового окошка и прижимая листья крошечными лапками. В один прекрасный день они слезли с чердака по деревянному столбу вниз и остались нахлебничать.

Узнали, кто отец котят, но узнали потом, когда они выросли – по точному повторению раскраски его в потомстве. В кошачьих детях сказалась генетическая формула: котик был весь в мать, очень пушистый, с волокнистыми боками, кошечка – гладкая, черная с белыми кончиками лап, задняя правая нога как бы в высоком белом носке. По расположению и форме этих пятен и вычислили потом родителя, огромного кота, свирепо навещавшего дом ради съестного и, как видно, совсем не чувствовавшего отеческой ответственности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.